



К л е т к а

Э Д У А Р Д С Е Р О У С О В

Эдуард Сероусов

Клетка

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Клетка / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Ирина держит на пульте миллион голосов планеты — она инженер связи, «горло» вида, что сто лет кричит в чёрное небо. В одну ночь небо отвечает: над городом смыкается перламутровый купол, спутники сторают, сети немеют, и всякий громкий сигнал становится приговором. Между Ириной и её глухим семилетним сыном — двадцать километров мёртвого мегаполиса, где даже крик убивает. Ей придётся пересечь онемевший город пешком, заново узнать собственные ладони и понять, каким языком теперь разговаривают выжившие. Твёрдая научная фантастика о катастрофе тишины, границах связи и любви, которая не помещается в сигнал.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Голос	5
Часть вторая. Печать	10
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Эдуард Сероусов

Клетка

Часть первая. Голос

За стеклом центра управления горело сто двадцать экранов, и на каждом жил чей-то голос.

Ирина держала их все сразу — так, как другие держат одну строчку. Каналы шли снизу вверх, зелёное по чёрному: борт, наземная станция, переприём, снова борт. Миллион разговоров, спрессованных в тонкие столбики цифр. Где-то там, под цифрами, кто-то говорил матери, что долетел. Кто-то диктовал курс. Кто-то в падающей темноте над океаном вёл посадку по её сигналу и не знал, что этот сигнал — её.

Она была голосом. Не в переносном смысле, а технически: без неё, без этой смены, без этой комнаты миллионы ртов открывались бы в пустоту. Ей нравилось это знать. Не власть — о власти она не думала никогда, — а плотность связи, ощущение, что через неё проходит всё, что люди говорят друг другу, и что она держит это на весу и не роняет.

Иногда, в глухие часы, ей приходило в голову, сколько всего вид кричит сразу. Не только её сеть — все сети мира: телефоны, вышки, радары, спутники, миллиарды разговоров, счётов, признаний, приказов, вылитых в эфир каждую секунду и уходящих вверх, за атмосферу, всё дальше, световыми годами, во все стороны. Земля орала в темноту без умолку сто лет, громче всякой звезды на своей волне. Мать говорила: мы как ребёнок, который вопит в пустом доме и думает, что дом пуст. Ирина считала это красивой глупостью. Дом и был пуст — она за пятнадцать лет не поймала из него ни звука в ответ. Пустой дом, и в нём один шумный вид, и она — его горло.

— Ира, у нас деградация на «Горизонте-четыре». — Голос Кости с соседнего пульта был на полтона выше, чем нужно. — Битовая ошибка растёт. Борту над Уралом сыпятся.

Она не повернула головы. Пальцы уже шли по клавишам.

— Полоса?

— Падает. Как будто кто-то встал между нами и бортом.

— Никто не встал. — Она перекинула нагрузку на резервный луч прежде, чем договорила. — Переводи азиатский сегмент на второй транспондер, европейский держу я. И не паникуй в эфир. Тебя слышат сорок станций.

Цифры на «Горизонте-четыре» дрогнули и выровнялись. Зелёное перестало течь. Тридцать секунд — и разговоры, которые чуть не оборвались над половиной континента, снова пошли ровными столбиками, будто ничего.

Костя выдохнул за двоих. Ирина не выдохнула. Она не помнила, когда это было в последний раз — отпустить воздух и не следить за линией. Пальцы сами нашли ключицу под воротником, там, где годами сидел горловой микрофон, и надавили. Привычка. Маленький след, как шрам от вещи, которой уже нет. Зеркально, на том же месте, за ухом у Лёвы сидел его процессор. Когда она думала об этом — а думала редко, — ей делалось не по себе: они с сыном носили на себе одну и ту же метку, только его она приладила ему сама.

Телефон в кармане дёрнулся дважды. Она знала, что там, не глядя.

Приложение. Напоминание, которое она поставила сама и сама же не сумела выполнить: сегодня в шесть у Лёвы был праздник в школе. Осенний. Дети читали стихи — те, кто мог голосом, — а те, кто не мог, показывали руками. Лёва готовил что-то целый месяц. Приносил ей на планшете кривые видео, где его маленькие пальцы складывали слова, которых она не

понимала, и смотрел, ждал, что она поймёт, а она отвечала «молодец» синтезом и не понимала. Она обещала прийти.

В шесть у неё была передача с борта, который сходил с орбиты в последний раз в своей жизни. Другого окна не было. Она осталась.

Она не подумала об этом как о выборе. В шесть на экране пошла телеметрия, и она вошла в неё вся, как входят в воду. Вынырнула в восьмом часу. К тому времени праздник кончился, Лёва был уже у бабушки, и всё решилось без единой секунды, в которую можно было бы решать. Выбор — это когда две двери. А тут была одна дверь и работа за ней, и Ирина умела входить в эту дверь, но не умела стоять перед ней, глядя на другую.

Один раз она пробовала. Прошлой зимой, поздно, оба уставшие, она попросила Лёву показать ей какое-нибудь слово — простое, детское. Он показал: сложил пальцы, повёл, посмотрел на неё с надеждой, какую она потом долго не могла забыть. Она повторила. Вышло криво; он поправил её руку своей, терпеливо, как поправляют младшего, и снова показал, и снова, а у неё не выходило — пальцы, что вслепую собирали микросхемы, не слушались на этом. Через десять минут она сказала «давай в другой раз, поздно уже» и включила приложение, и синтез сказал за неё «спокойной ночи», и Лёва кивнул и погасил свой огонёк за ухом. Другого раза не случилось. Ей было проще вставить ему в голову звук, чем выучить одно движение руки. Она называла это заботой. Мать называла это ленью сердца. Обе, наверно, были правы.

Затишье пришло к десяти. Европа замолчала, Азия ещё спала, и в столбиках стало просторно.

Ирина открыла приложение.

На экране был Лёва. Он сидел на полу у бабушки, в жёлтом круге лампы, и глядел не в камеру, а чуть мимо, туда, где на планшете рядом загоралась строка её слов. Ирина набирала, и приложение говорило за неё: ровный, чистый, ничей голос, синтез без акцента и без неё.

«Привет. Ты поел?»

Процессор за его ухом мигнул. Принял сигнал, перевёл цифру в звук, и звук пошёл прямо в нерв, минуя всё, что у людей зовётся слухом. Год назад она добивалась, чтобы, услышав, он поворачивал голову к источнику. Он повернул. К динамику планшета, к её синтетическому голосу — послушно, как учили.

Он не ответил словами.

Он поднял к камере лист. Синим по белому — что-то вроде дома, и над домом не небо, а плотная косая штриховка, будто крышку опустили. В штриховке — дырки, и сквозь дырки сверху сыпались точки. Много точек. Он держал лист и смотрел на свой рисунок, не на неё, словно рисунок должен был его услышать, а не она.

— Что это, Лёв? — сказала она вслух и тут же вспомнила, что вслух он её не берёт. Берёт только через строку и синтез. Спихватилась, набрала: «Красиво. Что это?»

Он положил лист. И — она видела это в сотый раз и в сотый раз не знала, что делать, — прижал ладонь к полу. Плашмя, всей кистью. Наклонил голову набок. Замер, слушая пол. Что он там слышал — прошедший внизу лифт, шаги соседа, гул трубы, — она не знала. Для неё пол был просто полом, ровным и немым. Для него он, кажется, был полон голосов.

За его спиной прошла Вера, наклонилась, сказала ему что-то в лицо — губами и руками, два коротких движения, которых Ирина не разобрала. Лёва поднял ладонь от пола, кивнул, показал в ответ одно движение, короткое, домашнее. Мать и сын понимали друг друга поверх её головы, на языке, который она для него отменила. Отменила из любви, как ей казалось, чтобы он жил в общем мире, а не в отдельном. И вот они оба сидели в отдельном мире, а она глядела на них с той стороны стекла.

Лёва вдруг поднял глаза прямо в камеру — редкость, он не любил объектив — и медленно показал ей то самое домашнее слово. Показал ей. Подождал. Ирина видела два коротких движения его рук и не знала, что они значат, не могла ни повторить, ни ответить. Между ними было двадцать километров и стекло. И ещё расстояние больше этого, которого не измерить в километрах.

«Поел?» — набрала она снова. «Отметься в приложении, чтобы я видела».

Строка ушла. Синтез произнёс это за неё в бабушкиной комнате, вслух, всей комнате. Лёва смотрел на свои ладони и ничего не отмечал.

Она закрыла приложение. Внизу экрана осталась серым непрочитанная галочка — её собственная, отправленная в никуда.

У кулера Костя разминал плечи, вымотанный сбоем.

— Слушай, а мать твоя ведь этим и занимается? — Он кивнул на дальний экран, где ползла ночная лента: где-то опять теряли связь со спутником, кто-то писал «сбой», кто-то «магнитная буря». — Ну, зелёных человечков ловит. Я читал статью, давно. Астроном, которая всю жизнь ждёт сигнал из космоса.

— Ждала. — Ирина налила воды, не глядя. — Двадцать лет. Не дождалась.

— И что, всерьёз верит, что они там?

— Она верит, что они молчат нарочно. — Слова вышли суше, чем она хотела. — Что мы для них — муравейник. К муравейнику не лезут, его не воспитывают, с ним не говорят. Либо мы слишком мелкие, чтобы с нами говорить, либо слишком опасные, чтобы нас выпускать. Выбирай любое.

Костя фыркнул.

— Тогда где они? Если такие умные и нас пасут — где хоть один за сто лет? Ни сигнала, ни тарелки. Тишина.

— Вот и я ей это говорю, — сказала Ирина. — Где они, если ты права.

Говорила. Последний раз — год назад, на кухне, когда речь зашла не о звёздах, а о Лёве. Об операции. О том, чью тишину она собралась «починить». Тогда Вера отложила очки. Она не держала в доме ничего, что нужно заряжать: только механические часы, которые заводила по утрам, да бумажные карты неба, свёрнутые в трубки. Отложила очки и сказала негромко: ты хочешь встроить его в шум, Ира, потому что сама живёшь шумом и другого не умеешь. Он не сломан. Сломана связь, но не там, где ты собралась чинить. И ты будешь чинить не его, а себя — его руками.

Ирина ушла и не вернулась. Лёва теперь ездил к бабушке один, с запиской в кармане и зарядкой для процессора, а мать с дочерью говорили только через него, как две станции через переприём, который сам не понимает, что передаёт.

А год до того был тяжёлый, и Ирина запрещала себе о нём думать. После операции мир хлынул в Лёву весь сразу — не музыкой, а грохотом: холодильник, лифт, вода в трубах, её собственный голос, оказавшийся для него слишком громким, всё то, что слышались не слышат, потому что привыкли не слышать. Он вздрагивал, зажимал уши, снимал процессор и прятал, а она надевала обратно и говорила «привыкнешь», и логопед говорил «привыкнет», и он привыкал — медленно, ценой, которую она предпочитала не считать. К концу года он поворачивал голову на звук и складывал первые плоские слова, и все хвалили её за упорство. Только по ночам он всё чаще сидел на полу, сняв процессор, прижав ладонь к доскам, — уходил туда, откуда она его тащила, в свою тишину, где ему, кажется, было просторно. Тогда она злилась. Теперь, идя к нему через мёртвый город, она впервые подумала, что, может быть, тащила его не к людям, а к себе.

На телефоне было старое фото: Вера у телескопа, смеётся, за плечом — чёрное небо без единой засветки, звёзды до самого низа. Такого неба над городом не бывало полвека, его давно съел свет. Ирина глядела на снимок дольше, чем собиралась. Спокойствие матери перед этим огромным чёрным всегда её злило и всегда тянуло. Она убрала телефон.

— Тишина, — повторила она за Костей, уже отходя. — Да. Тишина.
Слово нравилось ей не больше, чем матери — шум.

Она вернулась к пультам, и пульт был не такой, каким она его оставила.

На «Горизонте-четыре» снова текло зелёное. Но теперь текло и на пятом, и на седьмом, и на дальних, азиатских, которые полчаса назад спали ровно. Не деградация. Пропажа. Один за другим борта переставали отвечать — не тускнели, как при помехе, а гасли начисто, будто их вынимали из неба пальцами, по одному, с краю.

— Костя. Смотри порядок. — Она уже видела его и ещё не верила ему. — Они гаснут не там, где помехи. Они гаснут по кругу. С запада на восток, ровной дугой. По горизонту.

— Это буря, — сказал кто-то из старших, не поднимаясь с места, лениво, поверх кружки. — Сильная вспышка на Солнце, предупреждали днём. К утру пройдёт. Пиши в журнал.

Ирина не писала в журнал. Цифры высоты говорили невозможное. Спутники не глохли — они снижались. Теряли скорость и оседали, один за другим, с той же дуги. На четырёхстах километрах, в вакууме, где тормозить не обо что, они тормозили обо что-то. Магнитная буря не роняет орбиты. Ничто не роняет орбиты так — ровной стеной, с краю, по горизонту.

За её спиной зал просыпался в тревогу. Костя вызывал борта по резервным частотам и не получал ответа; кто-то тряс мёртвую гарнитуру; кто-то звонил домой и не мог дозвониться. Дуга гаснущих номеров ползла с запада, и Ирина, глядя на неё, считала уже не спутники, а время: если так пойдёт, через час не станет европейского сегмента, через два — их. Она попробовала перевести уцелевшие борта на низкую орбиту, увести под гаснущую дугу, — команды уходили в пустоту, отклика не было, будто она набирала номер, отключённый навсегда. Старший смены наконец встал, подошёл, постоял над её пультом, и Ирина видела, как медленно, против воли, гаснет на его лице привычное «к утру пройдёт». Он не сказал больше ничего. Сказать было нечего. Впервые на её памяти в центре управления связью не осталось ни одной команды, которую стоило бы отдать.

— Это не буря, — сказала она в зал, ни к кому. — Буря глушит. Это не глушит. Это снимает. По очереди, аккуратно, с одной высоты.

Старший поднял голову от кружки, посмотрел на её экран, на дугу гаснущих номеров, и не нашёл, что возразить, и оттого разозлился.

— И что ты предлагаешь? Позвонить в космос и спросить, чего им надо?

Она не ответила. Ей нечего было предложить. Она умела держать линию — а тут кто-то отбирал у неё самую возможность линии, и против этого у неё не было ни резервного луча, ни обходного канала, ничего из того, чем она была.

Она встала. Прошла в конец зала, к настоящему окну — узкому, у торца, которым никто не пользовался: за ним не было экранов, только город и небо.

Город горел, как всегда. Миллион окон, реки фар вдоль проспектов, ровное медное зарево над крышами. Живой, шумный, подключённый, не подозревающий.

А по краю неба, там, где город кончался и начиналась темнота, темнота была не та. По самому горизонту, от края до края, стоял слабый перелив — как плёнка бензина на воде, как масло, растёкшееся по стеклу. Он не светил. Он стоял. И медленно, очень медленно поднимался вверх, забирая звёзды снизу — гасил их не по одной, а полосой, будто в чашу неба наливали тёмную переливающуюся жидкость, и уровень её поднимался.

За её спиной, на ста двадцати экранах, один за другим гасли голоса.

Часть вторая. Печать

Она стояла у окна, глядя, как перелив съедает небо, и первым в ней поднялось не страх, а профессиональная, почти оскорблённая злость: кто-то встал между её сетью и звёздами. Кто-то глушил её эфир — так нагло, так широко, как не смог бы никто на земле. Она искала виноватого, будто виноватого можно найти, и оттого не сразу поняла, что происходит.

Потом небо закрылось.

Не вспыхнуло молнией. Прошло разом, единым листом, от края до края, беззвучно. Купол. Огромный, переливающийся, зловеще-спокойный, он сомкнулся над городом до самого горизонта. В первую секунду он был почти красив — будто на мир опустили крышку из перламутра, и город оказался внутри раковины.

А потом по крышке снизу побежал огонь.

Спутники, что оседали к невидимой стене, теперь чиркали о неё сверху, длинными искрами, как спички о дно перевёрнутой чаши. Один, другой, десять сразу. Росчерки белого пламени, беззвучные за стеклом, вспыхивали и гасли, не долетая до земли. Ирина знала каждый из них по номеру. Она вела их годами, будила по утрам, укладывала на ночь, знала их капризы и их старость. Теперь они горели над её городом, а она стояла и считала — потому что считать было единственное, что руки ещё умели, когда всё остальное отказало.

Слева, у горизонта, в небо поднимался самолёт. Взлетал: огни ползли вверх, красная мигалка на брюхе. Она знала, не видя приборов, что его ответчик сейчас кричит в эфир на полной мощности, докладывает высоту, вещает, живой и громкий. Он набирал и набирал, тянулся к перламутровой границе, к тому уровню, куда поднялась темнота, — и на границе просто перестал быть самолётом. Не взорвался. Разошёлся. Огни распались, россыпь искр повисла на миг там, где секунду назад была машина с людьми, и посыпалась вниз, в чёрные кварталы.

Там были люди. Двести, триста человек, пристёгнутых в креслах, с телефонами в руках, с недопитым кофе на откидных столиках. И вот их не стало, они сделались падающими искрами. Ирина не могла отвести взгляд: отвести взгляд было бы предательством, единственным, которое она ещё могла не совершить. Она смотрела, пока последняя искра не погасла над крышами. Потом смотреть стало не на что.

Ни звука.

Вот что было страшно. Не огонь — тишина. Самолёт с людьми падал в город, а за толстым стеклом стояла тишина, ровная и полная, будто мир показывали с выключенным звуком и звук забыли включить.

И тогда за спиной у неё остановился гул.

Она не сразу поняла, что случилось: этого гула она не слышала никогда — так не слышат собственное сердце, пока оно бьётся. Сто двадцать экранов, вентиляторы, тысяча тонких гологов сети, спрессованный шёпот всего подключённого мира — гул, который стоял в этой комнате всю её сознательную жизнь, оборвался. Экраны почернели разом, синхронно, как один. Стало так тихо, что Ирина различила собственное дыхание, и шорох воздуха в пустом зале, и как где-то капает вода — чего за работой не слышала ни разу за пятнадцать лет.

Мир не задохнулся. За окном ещё светились редкие окна там, где на секунды остался свет. Воздух шёл в лёгкие ровно. Купол пропускал и воздух, и падающий сверху огонь. Мир не ослеп и не задохнулся.

Мир онемел.

И это било по ней отдельно, лично, помимо ужаса. Другие теряли свет, связь, привычный уют — она теряла родную стихию. Пятнадцать лет она жила внутри звука, как рыба в воде: гул зала, шёпот сети, миллион голосов, спрессованных в цифру, — среда, в которой она дышала и была собой. Теперь среды не стало. Тишина обступила её со всех сторон, плотная, чужая, и

Ирина стояла в ней, как рыба на песке, и не понимала, чем теперь дышать. Всё, что она умела, всё, чем была, держалось на одном: что можно послать сигнал и получить ответ. А сигнал стал смертью, и ответом на любой её крик отныне была не связь, а гибель. Впервые в жизни правильным было — молчать. И это было так же противоестественно, как не дышать.

— Резерв! Дай резерв! — Костя был уже не за пультом. Он метался вдоль стены, и голос его срывался вверх, туда, где голоса ломаются. — Ира, картинки нет, вообще ничего, ни одной линии, надо поднимать, срочно поднимать!

Она не ответила. Она вернулась к мёртвому пульту и делала то, что делала всю жизнь, когда всё падало: перезапуск, обход, резервный канал, ещё резервный. Пальцы шли заученной дорогой, и заученная дорога упиралась в чёрное. Тумблеры не давали отклика. Экран не давал отклика. Ни одной зелёной строчки. Впервые за пятнадцать лет линия молчала так, что молчание нельзя было переназначить на другой луч, обойти, вернуть. Молчание было не на линии. Молчание было вместо линии.

И сквозь злость, сквозь механическую ярость рук, всё жавших мёртвые клавиши, проступило первое понимание — холодное и ровное, как цифра на приборе.

Всё, что погасло, было громким. Спутники — передатчики. Самолёт — ответчик на полной мощности. Сеть — миллионы ватт, вылитых в небо каждую секунду. Оно не выключило свет в окнах. Оно не тронуло воздух. Оно убрало всё, что кричало, — и чем громче кричало, тем быстрее убрало.

Она обернулась.

— Костя. Не трогай генератор.

Но Костя был уже в дальнем конце зала, у аварийного щита, там, где стоял дизель на такой вот случай — на любой мыслимый случай, кроме этого. Он взялся за рубильник. Вернуть питание, вернуть картинку, вернуть мир — потому что всю смену он не мог усидеть на месте, и сейчас не мог, и руки его знали одно движение: включить обратно то, что погасло.

— Костя, не вклю...

Шина ожила.

Белое. Беззвучное. Не вспышка даже — будто на долю секунды кто-то выкрутил яркость самого воздуха вокруг щита до предела и сразу убрал. Ирина зажмурилась поздно. Под веками остался отпечаток: чёрная фигура на белом, руки ещё на рубильнике, поднятые плечи.

Когда она открыла глаза, аварийные лампы на батареях уже качнули по залу тусклый жёлтый свет. Они были тихие, маломощные, им ничто не грозило. А Костя лежал у щита, и рубильник над ним стоял поднятым, и по нему больше ничего не текло.

Она не подошла сразу. Она стояла и глядела, и в голове, помимо ужаса, шла ровная строка вывода, которую она ненавидела за то, что та шла в такую минуту: включённый источник под куполом — смерть. Большой, живой, под током, с броском мощности — смерть, мгновенная и беззвучная. Она поняла это на полсекунды раньше него. И произнесла на полсекунды позже, чем нужно, чтобы он услышал.

Правило было написано. Одним телом, у стены, в жёлтом свете.

Она подошла, села рядом с ним на пол и не стала трогать: трогать было незачем. Просто побыла минуту, потому что кто-то должен был.

Полсекунды. Всю оставшуюся жизнь она будет возвращаться к этим полсекунды. Она поняла раньше него — и не крикнула раньше. Крикнула вровень с его рукой на рубильнике, когда крик уже ничего не менял. Инженер, привыкший, что всё решает быстрота реакции, на этот раз опоздал ровно настолько, насколько опаздывает всякий, кто сначала думает, а потом верит тому, что подумал. Где-то над ними, в тёмных этажах здания, были ещё люди — ночная смена, охрана, уборщики, — и, может быть, кто-то из них сейчас, в панике, тянулся к тому же

движению, что и Костя: включить обратно. Она не могла их предупредить. Не могла крикнуть на весь корпус «не включайте ничего», потому что крик убил бы её саму. Первый закон этого мира она уже знала, а сделать с ним ничего не могла: знание, которое нельзя передать, стоит не больше молчания.

В мёртвом жёлтом свете она достала телефон.

Чёрный. Большой палец сам пошёл к экрану — разбудить, как делал тысячу раз в день, — и не разбудил ничего. Она нажала ещё раз, зная, что не разбудит. Приложение, синтез, серая галочка внизу — всё осталось за стеклом, которое больше не загоралось. Инструмент, которым она говорила с сыном, умер вместе со всем, чем она говорила с миром.

И тогда мысль о Косте, о падающем самолёте, о горящих над городом номерах отступила перед одной, простой и оглушительной.

Имплант.

Процессор за ухом у Лёвы — это была техника. Маленькая, тихая, но техника: под током от батарейки, работающая, живая, переводящая цифру в нерв. Такая же, как всё, что сейчас погасло по городу. Значит, он погас. Значит, там, у бабушки, в жёлтом круге лампы, огонёк за ухом мигнул в последний раз и потух, и Лёва впервые за целый год остался в своей тишине.

Она попыталась представить его лицо в ту секунду. Испуг — он должен был испугаться, когда мир, к которому его год приучали, вдруг схлопнулся и стал беззвучным. Или не испуг. Она отогнала эту мысль, потому что мысль была не ко времени: или он положил ладонь на пол и остался дома, в том единственно родном, откуда она его год вытаскивала.

Рука, привыкшая чинить, уже думала за неё. Процессор можно оживить. Маленькая схема, ей ли не знать, — батарея, преобразователь, пара контактов; она собирала вещи в сто раз сложнее вслепую, на ощупь, в темноте аппаратной. Она могла бы кустарно запитать его, дотянуться до сына, вернуть ему звук, вернуть себе связь — на её условиях, как всегда, как год назад на операционном столе, где всё тоже решала она.

И следом, тем же холодным выводом, тем же голосом прибора: любой источник под током теперь убивает. Костя у щита. Оживи она эту схему рядом с сыном — и убьёт их обоих, беззвучно, под сомкнутым небом.

Она стояла в мёртвом центре управления — женщина, которая была голосом целого вида, миллионом каналов, вещанием, контролем, всей связью мира сразу, — и не могла позвонить собственному ребёнку. Ни одного канала. Ни одной линии. Впервые в жизни между ней и человеком, которого она любила больше всего, не осталось ничего, что она умела бы включить.

Оставалось одно. Тело. Ноги. Идти.

Мысль была почти дикая. Двадцать километров пешком, ночью, через город без света, к дому, куда она пятнадцать лет добиралась за секунду — набрать, позвонить, увидеть на экране. Вся её жизнь была построена на том, чтобы не ходить: чтобы связь заменяла расстояние, чтобы можно было держать сына на другом конце города и «быть с ним» через стекло, чтобы присутствие сворачивалось в сигнал и умещалось в кармане. Она гордилась этим. Она называла это современностью, эффективностью, любовью нового века. И вот сигнал стал смертью, стекло почернело, расстояние вернулось во всю свою длину, и оказалось, что между ней и ребёнком всегда было ровно двадцать километров, только раньше их закрывала техника, а теперь их придётся пройти ногами, шаг за шагом, в темноте. Она даже не знала толком дороги: она знала карту, схему, маршруты сети — но не тротуары, не подворотни, не то, как этот путь ложится под ноги живому человеку. Ей предстояло узнать свой собственный город заново, снизу, телом. Как Лёва узнавал дом — ладонью по полу.

Она вызвала в памяти карту города, которую помнила наизусть, как схему сети. Центр — здесь, дом Веры — там, на другом краю, через весь онемевший мегаполис. Двадцать с лишним километров тишины, где любой её крик в эфир будет смертью — её и чужой.

— Прости, — сказала она Косте вслух, потому что вслух больше некому было, и потому что вслух — это всё, что у неё теперь осталось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.